

**В.В. Розанов**  
**Казерио Санто и виды на будущее в Европе**

*По изданию: Собрание сочинений. Том 28. Эстетическое понимание истории. Москва, 2009 г.*

*Впервые опубликовано в журнале «Русский Вестник» №10, 1894 г под одноименным названием.*

---

Мне главное нужно не чувствовать себя виноватым...

*Из «Анны Карениной»*

Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него.

*Из «Книги Иова»*

По отношению к событиям, совершающимся в Западной Европе, русский писатель находится в положении особенно благоприятном: не там его родина, и в его сердце эти события не найдут родных отголосков. Интерес ума, пожалуй, сострадание, опасение, но исключительно за них самих, есть единственное, что они могут возбудить в нем, оставляя для этого ума всю свободу суждения, не давая переходить этому состраданию и опасению за границу того, что свойственно человеку, обязательно для христианина. Европа Западная и наш восточный мир, в своих исторических путях — это как бы эллипсис планеты и парабола пересекающей солнечный мир кометы: они могут встретиться, но затем всем своим прошлым течением будут унесены в разные пространства, по разным путям, к разной судьбе...

К сожалению, немногими у нас эта высокая свобода ума, эта драгоценная возможность независимого суждения ценится, бережется: нам так хочется стать в ряды борющихся там, принять участие в напряжении их сил, в смятении, крови, грязи, которые заливают собою двухтысячелетнюю цивилизацию; но там ведь реальные факты лежат под этою борьбою, к реальным же фактам направляется самая борьба, — и

где эти факты<sup>1</sup> у нас, с какого неба, если не Магометова, упадут они к нам? Но безрассудные этого не видят; им все хочется облечься в блузу *ouvrier'a*<sup>2</sup>, натянуть клетчатый пиджак буржуа; хочется пойти на биржу, выслушать зажигательную речь, когда инстинкт живой, нужда дня, историческая необходимость — зовет пойти в поле посмотреть желтеющую рожь, съесть хлеб, который есть на сегодня, и как за один благодарить, о другом помолиться у Бога.

Настоящая статья не могла найти себе места в периодических изданиях наших, которые все усиливаются тянуть кто за «*Revus des deux mondes*», кто за «*Intransigeant*»: зачем буржуа не осмеян, почему рабочий не в тоге? Зачем я вижу действительность и не разделяю ничьих снов? — Потому что история есть именно действительность, и кто не умеет на нее смотреть так сегодня, ничего не предугадает назавтра.

СПб., 89 г., 25 авг.

---

Казерио Санто, убийца президента Карно, приговорен к смертной казни, — после Вальяна, Анри, Равашоля, перед... но будущее, и недалекое, внесет имена, на месте которых пока мы можем поставить только точки, несколько не сомневаясь, однако, что эти точки действительно заменятся именами. Мы имеем перед собою факт, резко поразивший всех формами своими, подробностями, но в смысле внутреннем этого факта ни для кого не было ничего нового. Как и всегда в истории Европы — не случай, не одиночное явление перед нами, но цепь явлений, процесс развития, которого стадии мы можем наблюдать и до некоторой степени, хотя бы в самых общих чертах — можем их предугадывать. Вот уже полтора тысячелетия Европа Западная есть вечно рождающее существо, следя за муками которого, прислушиваясь к биению плода в ее чреве, мы можем составлять некоторое представление о формах рождаемого и времени рождения.

---

<sup>1</sup> Мы не хотим этим сказать, чтобы нигде на нашей территории не было отношений труда к капиталу, подобных тем, какие установились на Западе; но что на очень долгое время они устранимы обилием у нас слабо населенных земель, — а главное, что исторически у нас отношения между собственником и рабочим не только различны, но и совершенно противоположны тем, какие существуют там: у нас работодатель для работника и семьи его — обычно «кормилец».

<sup>2</sup> Рабочего (*фр.*).

Поразительнее и характернее, чем убийство Карно, нам представляется преступление Вальяна: оно было безлично; оно было направлено против деятельной силы в государстве; оно было коллективно, не избирало кого-нибудь одного для себя жертвою. Снаряд, брошенный этим человеком в Палату депутатов, не был направлен против лица, против должности, против мероприятия, но против порядка, системы, строя, которого выражением служили люди...

Мы хотели было прибавить: против системы *убеждений*, против некоторой политической и нравственной *веры* — и не могли. Как ни странно подумать, это так: Европа, как она держится, давно уже есть только некоторый *status quo*, куча фактов без всякой связующей ее мысли; фасад, стены, кровля — все лежит друг возле друга, без цемента, каких-либо скреп.

Скорее вера, убежденность, сильное утверждение есть в том, что под этим фасадом, этими стенами струится и день за днем их разрушает, подкапывает. Конечно, чтобы, взяв бомбу, бросить ее в ряды кресел, где сидят законодатели страны, распорядители судьбы ее на этот день — в чем бы ни была вера человека, это сделавшего, в нем она есть. Пусть эта вера, это убеждение — отрицательно, разрушительно, безрассудно; не останавливаясь на предмете ее, сосредоточивая внимание только на существе самой веры, мы вынуждены сказать: «Да, этот человек верит во что-то; верят те, которые его послали...».

Верят ли также в себя и те, которые заседали в креслах, обсуждали законы страны, и вот в них летят осколки бомбы? Руку бросившую они схватили и отсекли; и сделали вид, будто не замечают, что не *эта* рука с *этою* бомбою против них направлена, но тысячи подобных рук сегодня, завтра, долго еще будут протягиваться, и за ними — направляющая мысль, одушевляющее сердце.

Мы читаем всюду, в кратких отметках о жизни нападающих, что они читают какие-то свои листки, видятся и сносятся только со своими; живут в своей атмосфере, не хотят дышать чужой. Это моно-идеистические маньяки, люди об одной идее, с которою не расстаются, к которой не примешивают никаких других, чуждых идей не только враждебных, но и просто посторонних. Это — не артисты, не поэты, не политические деятели; это — ремесленники, даже когда они и литераторы или адвокаты; ремесло дает им заработать хлеб дневной, а всякую минуту, которая затем у них остается, они отдают этой одной идее, в нее углубляются, ею разжигаются, по ней действуют.

Есть ли что-нибудь соответственное, какой-нибудь подобный символ у господ положения, у status quo Европы, который, обирая осколки бомб, на него сыплющихся, не смеет поднять глаз на того, кто их сыплет? Мы говорим о Франции, как о полнейшем и высшем олицетворении того нового порядка, *moderne regime*, который создан революцией 89-93-го года.

Нет и нет; «великая революция» выбросила их наверх положения; цепко схватились они за место, куда упали; и почувствовав, что место это как нельзя более отвечает их аппетитам, склонностям, почти призыванию, — они на нем пытаются удержаться.

Вспомним вопросы в знаменитом памфлете аббата Сизэйса: «Что такое третье сословие? — все, это сама нация». «Какое положение в стране оно занимает? — никакого». «Чего оно хочет? — быть чем-нибудь». Тут, правда, произошел в истории маленький каламбур: вопрос Сизэйса относился к положению минуты, к способу, каким будут подаваться голоса в собранных Людовиком XVI генеральных штатах: будет ли голос дворянства составлять *единицу*, духовенства — *единицу*, «третьего сословия», т. е. горожан — тоже *единицу*, и тогда третья единица после солидарных *двух*, очевидно, как и прежде, не будет принята в какое-либо внимание. Но история не расслушала, к чему относился вопрос почтенного аббата; она подхватила только ответ; и вот, когда бурей событий первое и второе сословие были сметены с лица земли, осталось не только «третье сословие, желающее чего-нибудь», но «сословие единственное, всем владеющее».

## II

Корни его — в далеком сумраке веков, еще в Людовике XI, Филиппе IV Красивом, в их политике, их финансовых проделках; но воспитание, обучение, чтимые им заветы — не идут далее XVIII века.

Оно только исполнено отвращения и ненависти, теперь уже почти фантастической и смешной, к тем двум сословиям, которые тогда столкнуло, — и всему, чего они были носителями. Его интерес к искусству не искренен, потребность в науке — утилитарна; к религии оно не скрывает презрения; оно всему посвящает досуг, но нужное время только приобретению. Немножко помолиться, немножко порисовать, немножко почитать — это так; но со вниманием — только поиграть на бирже, вот буржуа.

Ни новый Декарт не осенит это бытие своею мыслью, ни новый Мольер или Расин не очарует его слух; ни Боссюэт, Массильон не увлекут его воображение; новый Конде, Тюренн не поведут их к по-

беде, Ришелье не будет управлять их политикой. Еще Эйфелева башня вознесется выше прежней; крепче, чем ее строители, нового запрут в каземат; еще Панама, еще драка в Палате депутатов, еврей, скупившей голоса и в этом уличенный — это ожидается, и ничего нового, ничего более — нет и не ожидается ничего... Среди мириад событий, дел, речей мы можем различить, в которых именно бьется сердце нации, слышен пульс времени, где его сокровенное, желанное...

В эпохах исторических есть некоторая цельность; и как любить мы их можем, забывая о их частностях, так, обходя эти частности, к их общему смыслу можем относить негодование, презрение. Мы не внимаем этой красноречивой речи, не радуемся этому справедливому судебному решению, не хотим этого нового благотворного закона; нам отвратителен город, страна, где этот суд вынесен, закон издан, речь произнесена — отвратителен их вид, быт, строй. Так, в минувшей уже истории, грек, не отдавая себе отчета, отвращался от могущественной Персии, афинянин — от Македонии, римлянин — от Армении с ее воинственным Тиграном, и всякий христианин отвращается от Китая, со всем его трудолюбием и многими прекрасными понятиями. Есть некоторая эстетика в истории, есть нравственная в ней идея, которая, вопреки удобному, выгодному, отталкивает необозримые массы людей от одних форм жизни, политического сложения, быта, — влечет к другим; обуславливает народные симпатии и антипатии; определяет отношения человека, народа к отдельным циклам в собственной истории.

Я не знаю, что печалит мое сердце; я ничем не оскорблен, не голоден, не обижен; ни на кого не могу жаловаться, ни на что — сетовать; но я не могу скрыть тоски моей, мне недостает какого-то солнечного луча, какой-то зелени вокруг, чего-то неуловимого, что я не умею назвать и без чего не могу жить.

Этого неуловимого аромата, животворящего духа, играющего луча недостает — не частностям европейской жизни, но ей всей в целом, ее установившемуся status quo. Я вовсе не хочу быть один сыт, ни с этой компанией — пьян. Мне нужно для моего счастья, чтобы была светла моя страна, было чему порадоваться и моим внукам; чтобы вся эпоха моя была благородна, а не то, чтобы вынесли справедливое решение на мою тяжбу с соседом.

Этим общим чувствам, этой элементарной и неуничтожимой стороне человеческой природы не отвечает буржуазный строй, со всеми чудесами своей техники, грубой роскошью и тысячею мелких вещей, которые он предлагает человеку в насыщение и не может ими заглушить в нем главного. И вот отчего люди общих идей так отвращаются

от этого строя, почему он не имеет для себя защищающей теории. Поэт не сложит ему дифирамба, философ не задумается с улыбкой о времени, в которое он призван жить и научать, и никакая женщина, рождая, не благословит эпоху, которой она дает сына. Все сторонится; печальна поэзия, или косноязычна и злобна; печальна даже философия; только слышится стук машин и видятся мириады людей около них, оглушенных, отупелых, эти машины ненавидящих и от них бессильных оторваться.

### III

С 48-го года у буржуа спрашивают: «Ты только рождаешься и ешь; мы также рождаемся — почему мы не должны есть?». Спрашивают не мириады отупелых в безысходном труде людей, — спрашивают, указывая на этих людей, те, которым хотелось бы улыбнуться и они не могут, хотелось бы размышлять — и не о чем, хотелось бы петь, слагать стихи, изображать — и нет изображаемого, нет предмета для песни, нет солнечного луча и зелени, которые животворят жизнь. Вспомним Фурье, Сен-Симона, Луи-Блана, нашего Герцена; первый был коммерсант, второй — граф, ни один из них не знал нужды.

«Ты прожорлив, как гусеница, и разрушителен, как ураган; ты поглотил народный труд, полусотворил, полуосквернил храмы, и самое искусство, науку, наконец — формы быта<sup>1</sup> ты или растлил, сделав условным все, относительным, или загрязнил, поставив для всего этого низкие цели, грубые образцы».

«И между тем как *ты* был «всем», по отношению к тем двум условиям, которые сто лет назад столкнул, — я, труженик, есть все по отношению к тебе, и на том же арифметическом основании, на которое одно тогда ты опирался».

Примечание об отсутствующем, которое аббат Сизэйс забыл написать в знаменитом своем памфлете, этот отсутствующий теперь пишет о себе. Остатки дворянства, ослабленное духовенство говорят, что строки отвечают действительности, выражают истину.

---

<sup>1</sup> Герцен однажды долго смотрел в каком-то итальянском городке на полуразрушенные стены старинного, еще из эпохи Renaissance, дворца — остатки сводов, мозаик, пола: «И *какие это люди* тогда жили!» — воскликнул он, очевидно, пораженный красотой и мощью этих остатков, и по ним представляя их былого жильца. В «Полярной Звезде» всюду у него проскальзывает тоска по *том умершем* человеке, отвращение к этому маленькому его потомку, ради которого, почти без надежд, он трудился. Сам он себе не формулировал, не давал отчета в своем чувстве; мы называем его эстетической идеей в истории.

## IV

Мы начали, пытаясь вскрыть смысл настоящего status quo Европы, указанием на преступление Вальяна; но в нем открывается только одна сторона этого положения, — характеризуется присутствие какой-то темной и разрушительной веры у нападающих. Теперь мы укажем на другой факт, в котором с не меньшей яркостью вырисовалась другая сторона этого положения: это — тот эпизод при обсуждении закона об анархистах, когда правительство потребовало для себя права закрывать в том или ином случае, по требованию нужды, публикацию в газетах политических процессов.

Собственно, это значило: читающую публику лишить одной из интересных рубрик, перед толпою — закрыть зрелище; ни правосудие, совершаясь публично, с соблюдением всех формальностей, со всеми гарантиями свободы приговора, не могло от этого пострадать; ни теория анархизма, излагаемая и защищаемая в книгах и брошюрах, не лишалась свободы выражаться и приобретать себе адептов. Анархизм только лишился самой громкой, самой яркой из своих реклам; анархисты не влеклись более, ценою жизни, стать на минуту предметом внимания и интереса цивилизованного мира.

И вот, даже после того, как уже совершились преступления Вальяна, Анри, Равашоля, республика все еще не осмеливалась испросить для себя этого права «неопубликования», и нужно было дожидаться, пока «на 18 сантиметров Казерио вонзит нож в бок самого президента», чтобы, наконец, страх будущего преодолел в «правителях» непостижимую робость и они осмелились заявить перед Палатою депутатов, что в этом праве они нуждаются, не для себя, но для своих «братьев-сограждан», кровь которых иначе будет еще и еще литься, с обилием, вероятно, возрастающим. Если так продолжителен был их страх — не перед кровью, но перед вопросом об этом праве, — то это значит, что в глазах всей страны, целой Франции, жизнь буржуа, жизнь человека, разрываемого на куски, не дороже удовольствия прочесть два столбца газетной печати. Это чувствовалось, это носилось в духовной атмосфере страны, и иод ее давлением этот вопрос<sup>1</sup>, столь дикий, столь странный всюду, столь непонятный для всякого здорового человека, подавлялся; и только когда Европа содрогнулась от нового ужасного

---

<sup>1</sup> В Палате депутатов это предложение вызвало памятную бурю; и только ввиду крови, почти свежей, убитого президента, прошло большинством 287 человек против 167, т. е. только представители самой буржуазии высказали, что кровь их чего-нибудь стоит, и 167 представителей *небуржуазии* открыто, перед лицом всего мира, это отвергли.

преступления, буржуа выразил робкий протест против такой оценки его жизни.

Эта-то игра страстей в двух приведенных фактах: там — в преступлении Вальяна, здесь — при обсуждении законопроекта, и выражает целостный status quo Европы: робкая мольба мешается с дикой верой, несмелость показаться в чем-либо забывшим «выучку» XVIII века стоит как жертва против нападения, которое не помнит Евангелия, отвергло десять заповедей, — и не их только, но и всякое jus civile, право всякого человека быть не убитым, долг каждого — не убить.

Отсюда — все формы нападения, все формы защиты; отсюда — группировка партий. Мы иногда читаем: «Крайняя правая подала голоса вместе с крайнею левой», или, наоборот: «Радикалы примкнули к монархистам по этому вопросу»; все и одинаково усиливаются столкнуть буржуазию, которая, столкнув два первых сословия, не пустила, однако, на их место четвертого. Она сама может удержаться лишь через фикцию, что если и не численно «представляет» страну, то представляет ее мнение, выражает интересы, и, словом, не будучи телом народным, составляет его душу. Голос, которым выкрикивается и боль тела, и ощущение душевное — он прежде всего перехвачен, дисциплинирован. Отсюда — подкупленные депутаты в палате, оплачиваемые в ней ораторы, продажная пресса.

Страна «свободна», но редко кто имеет бескорыстие быть внутренне свободным; свобода котируется на бирже политической; всякий хочет есть, и для этого нужно только не хотеть; продай хотенье — и ты сыт, и даже свободен во всем, кроме одного маленького предмета хотенья: сказать «нет», когда спросят о том-то, ответить «да», когда спросят о другом.

Вот откуда это ожесточение, этот взрыв нервности у нападающих: им даны все внешние способы подняться и столкнуть «третье сословие»; это сословие в этих способах им отказать не могло: в парламентаризме, в свободе прессы, всеобщей подаче голосов.

Но только оно подсекло все эти способы: лестницы подпилены, веревки перетерты — свободно может всякий взлезть наверх и никто не может действительно. Право не родит из себя факта; и вот откуда эти факты бесправные, преступные, кровавые потекли...

## V

Нам часто думается, когда мы размышляем о status quo Европы, что она находится накануне страшно циничных слов. Собственно, циничные чувства, циничные отношения уже выросли; даже факты циничные



совершаются; но все еще прикрывается великодушными словами, подуманными когда-то, и в то время подуманными с верою.

Одно из подобных циничных слов, мы предугадываем, будет не столько найдено, сколько выкрикнуто буржуазным строем, при боли от этих осколков бомб, при ужасе текущей крови, разрываемых кусков живого мяса:

«И вы так же бесправны в своем усилии подняться, как мы — в жажде стоять там, куда нас бросила история».

«Как и мы, вы не имеете внутренне религии; как мы равнодушны к искусству — вы его презираете; науку также утилитарно понимаете; историю также мало цените и знаете».

«Вы также буржуа<sup>1</sup>, но только маленькие; очень бедные, часто голодные; еще не торгующие, не владеющие конторою, но ужасно как к этому жадные и совершенно готовые; собственно, вы даже более, нежели мы, буржуа, ибо совсем уже не помните того давнего и великого, что и мы почти забыли. Мы еще любим власть, тешимся политическими формами, несколько привязаны к стране, и даже в ее истории — по крайней мере, привязаны к принципам 89-го года; вы же как странствующие *commis voyageurs*'ы не имеете и этих слабых привязанностей: вы безотечественны, безгосударственны, безнациональны<sup>2</sup>.

«Что именно вы хотите, на что надеетесь: быть несколько более сытыми, чем теперь, менее усталыми? Вы ищете 8-часового рабочего дня, и на 8 часов каких-нибудь удовольствий: небольшого зрелища, маленькой музыки, газеты, и затем — 8 часов спать до завтрашнего дня, когда все это повторится — для вас, детей ваших, внуков, всегда».

«Хорошо, этот вечный покой мы вам доставим, но только с условием: остаться полными распорядителями всех остальных, *для вас несущественных*, обстоятельств жизни».

Вот что, ранее или позже, скажет буржуа работающему у него блузнику, обходя Фурье, Сен-Симона, Луи-Блана, Герцена, всех этих великих эстетиков истории, которые как на необходимый для них рычаг надавили на горе и нужду народную, чтобы с помощью ее столкнуть строй, им неприязненный общим видом своим, цельным смыслом. Этот рычаг у них будет вынут из рук; без посредства теоретиков, буржуа станет лицом к лицу с рабочим, и *taхитим*, чего желает он, на что он надеется, что ему обещают и сами теоретики — даст.

---

<sup>1</sup> См. заграничные заметки таких зорких наблюдателей, как Герцен, Достоевский, Тургенев, разбросанные там и здесь в их сочинениях, в письмах; также изображения протолодина у французских писателей-реалистов.

<sup>2</sup> Француза Карно убивает итальянец Казерио, даже не говорящий по-французски.

Быть может, это не будет даже произнесено, формулировано; достаточно, если буржуа это подумает о рабочем, и, поняв последнего, как простое повторение себя, связав нужду его с опасностью для себя всего лишиться, избрет исход, сносный для него и наименее себе убыточный. Он откинет идеализм, эстетику, нравственность, которые таятся в социальном кризисе, но носителями которых не являются ни он, ни сами рабочие, и оставив одну грубую, материальную<sup>1</sup> сторону дела, решит ее практически и грубо, в пределах не невозможных. Великий исторический катаклизм, которого так опасаются в Европе правительства, о котором мечтают теоретики, совершился бы лишь в том случае, если бы переменялись руки у власти; и нет никакой нужды, вовсе не вытекает из сущности социального кризиса, чтобы они переменялись.

## VI

Собственно, буржуа уже и теперь делает поползновения связать рабочего не только получить от него меру нужного труда, но и подавить в нем то или иное желание; но он делает это робко и тайно, не чувствуя в себе на это права; в момент, как он почувствует это право — то, к чему он крадется теперь, он возьмет.

Мы читаем иногда в биографических отметках о том или ином преступнике: «Он отлучался от работы только однажды в году — первого мая, *тайно*, чтобы участвовать в известном торжестве». При формальной свободе, какая осуществлена в Западной Европе, при свободе только формальной, дальнейшего шага в этом направлении можно ожидать в форме «свободного» договора о *долгосрочном* найме.

«На срок двух-трех лет, мне нужных для окончания вот этой-то работы, отрекись от свободы, которою ты не пользуешься и теперь (и за недосугом никогда не будешь пользоваться) — и ты и семья твоя сыты на это время»; «отрекись от сословия своего, от его безрассудных замыслов — и ты обеспечен не только в хлебе; но и облегчен в труде»; «отрекись на течение всей жизни, — и эта жизнь протечет обеспеченно, и жизнь детей твоих...».

«Есть некоторая сумма продуктов национального труда, которая называется богатством, и, поделенная на всех, она даст каждому тем больше, чем меньше будет затрачиваться на посторонние благососто-

---

<sup>1</sup> Замечательно, как, перейдя уже по сю сторону Вогез, в Германию, социализм утратил идеалистические черты свои, сосредоточившись исключительно на материальной стороне дела. У Маркса — это уже только препирательство рабочего с полуобсчитавшим его хозяином, без всяких общих соображений о социальной «гармонии», о фаланстерах, без попыток дать человечеству «новый катехизис» веры и практики.

янию всех вещи; это сохранение спокойствия страны пока так дорого; так дорога возня с преступлением и всем, на что помимо работы толкается человек излишне данною ему свободой. Зачем подкупать оратора, если можно его не выслушивать; для чего платить газете — дешевле ее не читать; когда все свелось к «дешево» — «дорого», зачем эти побрякушки цивилизации, блестяшки культуры? и когда похоронены Евангелие, Библия, чего стоит похоронить Декларацию прав? Ведь уже понятно, что главное право человека — есть; будем беречь его и не развлекаться другими».

Тысяча фактов, элементарных, грубых, повседневных будет толкать человека в цикл этих идей; уже теперь рабочие массы индифферентны к когда-то столь дорогой мечте «республики»; еще шаг, еще один предрассудок опадет с человека, и он станет индифферентен к распоряжающемуся голосу работодателя; ведь кто-нибудь должен же повелеть, чья-нибудь мысль — организовать, воля — понудить; не все ли равно ждать будущего возможного повелителя из толпы книжных теоретиков (и кто предугадает его черты<sup>1</sup> в *подробностях?*) — проще, вернее, остаться под тем, кто есть, если он соблюдает меру.

«Жизнь так коротка и я никогда не увижу другой; неужели этот краткий миг бытия, мне отведенного, я никогда не отдохну от труда, не увижу детей своих иначе как изможденными в этом же труде, — и что мне в свободе, в богатстве, в восторгах будущих поколений, с которыми я ничего не разделю и они не разделяют ничего со мною. Они так счастливы будут, эти поколения, о, даже счастливее, чем эти буржуа, и верно также сытые нравственно, как он, самодовольные, лоснящиеся... Почему их богатство, роскошь ближе мне, чем эти худенькие, усталые руки моего ребенка, чем готовящаяся судьба для моей девочки? И верный им, сытым (ведь они будут сыты?), не являюсь ли я предателем этих голодных (ведь они голодны?), вором, крадущим последнюю рубашку в своей каморке, чтобы, продав ее, снести рубль в богатый дом, где готовится пиршество и никто там не знает меня даже по имени... Нет и нет, этот рубль туда не пойдет, эта рубашка здесь останется; этот буржуа — конечно, я не люблю его — пусть будет и «господином» для меня, «обладателем» лица моего и свободы, лишь бы шла мимо этих малюток их чаша...».

И навстречу этому тоскливому желанию, отделяя и сберегая лучших тружеников, предоставляя остальных их судьбе, буржуа замкнется

---

<sup>1</sup> Разве Сен-Жюст предугадывал, что Гамбетта будет любить тонкие сигары? Разве сотоварищи по бурсе Стамбулова предвидели, что он, среди всех своих прекрасных даров, между прочим, будет обладать даром ненасытности к женщинам?

в новых задачах, пойдет к целям более определенным и широким, чем теперь, но по побуждениям таким же. Оргии его ограничатся, насыщение страстью господства заменит их; наконец, эти оргии станут тайными, не раздражая взгляд труженика, не возбуждая в нем лишних желаний. Почему цивилизации не стать опять скромною? Зачем с улицы, где она разлилась таким шумным и грязным потоком, ей не возвратиться вновь за глухо запертую от народных глаз дверь, оставив улице тишину, регулярность труда, регулярность маленького удовольствия, краткого отдыха? Некоторое преимущество перед собою рабочий уже и теперь дает тем из своих, которые присматривают за его трудом, этот труд направляют, оберегают. Представитель рабочих союзов перед правительством получает в Англии от этих самых рабочих содержание, равняющее его с лордами; вот это самое, — даже не это, а гораздо меньшее, совсем немного, возьмет буржуа и сделает то же самое.

Ему останется оргия владычества, наслаждение господства; о, этих оргий не знает рабочий, потому что никогда к ним даже не приближался, и потому- то так слеп, так равнодушен он к «политической стороне вопроса». И зачем ему их вкушать: наслаждение отнятое — больно, неизведанное — не болит. У него болят руки — «мы их успокоим»; голоден желудок — «мы его насытим»; насытим, отдав многое из своего, и, главное, поставив в ряды работающих те средние классы, промежуточные состояния, которые и теперь ни для кого не нужны, и тогда не будут нужны, по крайней мере — нам». Потомок Фурье, Сен-Симона будет вертеть колесо на фабрике, как и скромный труженик, о котором так радели их предки; он будет вытягивать пряди льна и скручивать из них нитку, что несомненное и реальнее, нежели все те праздные учения, те золотые сны, которые снились когда-то человеку, — и вот, пробужденный, он их не видит более.

## VII

Повторяем, в тот день, как буржуа ощутит в себе правоту, которой он не ощущает теперь, участь рабочих классов Европы будет решена бесповоротно; «грядущее рабство», о котором лет десять назад Герб. Спенсер предупреждал Европу и при этом поворачивал подслеповатые глаза свои налево, придет со стороны, откуда его никто не ждет. Собственно, механизм этого рабства уже готов, и нет руки только, которая имела бы мужество и догадливость возложить его на выю, которая, однако, уже подводится к нему, толкается бесчисленными фактами, ежеминутно, все теми же, все одного смысла. «Европа смущена,

встревожена», «блага цивилизации (в которые, впрочем, никто не верит) в опасности», «прогресс истории грозит остановиться», «преступления так страшны, и, главное, так бессмысленны, что напрасно было бы вступать с преступниками в какое-нибудь соглашение, предлагать им вопросы, дожидаться их ответов; бросьте им, этим голодным псам, их восьмичасовой рабочий день и уберите от них остальное, чтобы они не расхитили, не разломали его, — как Тюльерийский дворец некогда<sup>1</sup>, как теперь этого доброго семьянина, потомка «организатора побед», и кто знает, что они разрушат завтра, на которого человека набросятся, на какой памятник великого прошлого...».

Эти и подобные слова, которые уже слышались, которые постоянно будут слышаться при всяком новом преступлении, будут толкать буржуа к тому, что в них подразумеваемо указывается: человека, так низко, так грубо, так предательски воспользовавшегося свободой, ему данною на этот век опытов, сделать вновь *крепким* чему-нибудь, — и если не земле (так как она расхищена, и, главное, так расплодилось эти «свободные»), то хоть фабрике, ее владетелю, который среди визжащих станков своих есть такой же господин, как и феодальный сеньор в своей сеньории. То, что так хорошо выполнял тот, выполнит этот не хуже; не в абсолютном смысле хорошо, но в относительном, какой один возможен для нашей земли, один может ожидать здесь, один исполнится.

Мы упомянули, что все средства для этого нового *закрепощения* есть: есть безграничная мощь государства, мощь самой организации его, всевидящей, за всем следящей, предвидящей движение каждого индивидуума и всякое из этих движений моющего предупредить. Мы называем это государство «парламентарно-конституционным», но гораздо справедливее было бы назвать его, по всему типу сложения, административно-полицейским; не везде есть конституция, не везде она одна, речи ораторов не везде одинаково красноречивы и одинаково зорки везде глаза полицейского сыщика. Его не коснулись революции, в нем ничего не преобразовал конституционный строй: в свободной Англии он еще лучше, чем в Австрии, в республике по ту сторону Вогез<sup>2</sup> хорош, как и в империи по эту сторону. Он всем нужен; в век, когда человек умеет только презирать человека, и презирая — боится

---

<sup>1</sup> Во время Франко-прусской войны коммунары, овладев на некоторое время Парижем, сожгли этот дворец с бесчисленными памятниками искусства, в нем хранившимися.

<sup>2</sup> Мы припоминаем, как во время панамского процесса один из агентов сыскальной полиции показывал, что во все время известного буланжистского движения он находился около легкомысленного генерала в качестве его интимного приятеля и доверенного сотрудника. С другой стороны, английские государственные люди неоднократно успокаивали палаты уверением, что именно полиция Британии есть лучшая в свете, которой

его, ему не доверяет, под шум речей, говор прессы, блеск «мирных» и немирных торжеств так хорошо, так действительно нужно подсмотреть друг за другом, проследить, что думает, что намерен делать этот «ближний», и не нужно ли перехватить ему горло раньше, чем он успеет мне его перехватить.

Эти тысячи зорких, изощренных глаз все слиты единством соединяющего их механизма, который почти международен, безнационален, как международен, всеобъемлющ страх человека перед человеком в этом веке. И индивидуум, который так легко хоронился в маленьких Афинах, в тесных кварталах Рима, на узких улицах старого Парижа, Лондона, не скроется теперь на обоих берегах Атлантического океана. Еще немного власти этому механизму, — безвредной для мирных людей власти вскрыть письмо, нужной для них власти предупредить злоумышляющую руку, а не только наказать ее, — некоторое одухотворение его, осмысленность, некоторая чуткость к печатному листку, к значению произнесенного слова, к чему пока он туп, незряч — и народы «свободные» еще, гордые своею «свободою», будут охвачены тысячею щупалец, свернувшихся в петлю, затянуть которую — вопрос минуты, вопрос исторической необходимости, а не механической возможности.

Мы должны перенестись к этим минутам социального страха, чтобы выйти из представлений, ставших так привычными за последние десятилетия и которые вовсе не вечны. Мы привыкли, что вся почти страна несет бремя военной службы; что это бремя несетя каждым год-два-четыре, и ему дается навык, искусство, но не верность и послушание в мире, в какой это может понадобиться в минуты внутренней борьбы. Без сомнения, обширные массы населения с удовольствием уклонятся от этой тягости; и, получив некоторые преимущества, каждый охотно останется здесь пожизненно. Армия не так тесно будет слита с народом; она будет иметь свою, отдельную от его, историю, свой быт, предания, судьбу; будет иметь свой символ. И при средствах победы<sup>1</sup>, какими обладает она теперь, каких не знало еще недавнее

---

все потайные трущобы возможных преступников так же хорошо известны, как аппараты и коридоры собственных канцелярий.

<sup>1</sup> Мы разумеем новейшие усовершенствования в скорости, точности и дальности стрельбы. Разговаривая однажды об этих усовершенствованиях и все думая о возможном их приложении в революциях, я спросил одного военного, только что кончившего школу и вступившего в строй: «Что же, неужели почти неопределенно малое количество войск, при этих средствах борьбы, может справиться почти с неопределенно большими, но не вооруженными правильно, народными массами?». И, получив утвердительный ответ, спросил еще: «Значит, в строгом смысле, повторение революции теперь невозможно? И, будь это в наши дни, такие восстания, как Французская революция, или как движения 48-го года в Париже и Вене – невозможны?» – «При достаточной отделенности-солдат от

время — революция станет (как и теперь, впрочем, уже есть) невозможна, останутся возможными, как и теперь, только единичные преступления, и эти без труда могут быть предупреждены перевоспитанием населения, отучением его от опасных навыков, от ненужных мыслей, легкомысленного чтения, слушания праздных слов. Шумящие народные массы, которые так страшны для доброго, гибельны для нерешительного, пугают виновного и вину свою сознающего, — что значат они для циника, и несомненно таковым будет буржуа в минуту, когда он захочет остаться у своего ящика с деньгами, у двери своей фабрики, без всякого желанья «передать орудия производства в руки непосредственных производителей»<sup>1</sup>.

## VIII

Собственно, в решительный момент социального кризиса буржуазная республика окажется несравненно более устойчивою, прочною, нежели даже неограниченная монархия; и то, что весь ход западноевропейских дел направляется к повсеместному ее осуществлению, является прочным основанием для суждения, что этот кризис никогда не будет разрешен, или, точнее, что он разрешится в смысле, нами указываемом, и противоположном тому, какой ожидается. Правда, есть всюду механизм рабства, на который мы указали выше, но в неограниченных монархиях он не имеет под собою питающего слоя населения, который был бы с ним слит единством принципов, духа, интересов, целей. В государствах, как наше, есть *общество*, которое, не вмешиваясь в управление, не обязано и одобрять его; и между тем управляющий механизм пополняется из этого общества; он в каждой точке своего приложения, в каждый момент своей деятельности ослабляется или искривляется тысячею не-выражаемых, молча принимаемых мнений, которые именно и являются господствующими, хотя, по-видимому, он один могуществен. Даже помимо этого: одно молчаливое присутствие судьи и зрителя, которого взгляд на вещи неизвестен и потому свободен, смущает делателя и останавливает его руку, замедляет решительность; самый мужественный человек, в виду миллионов глаз, на него устремленных, старается, кроме исключительных пунктов, согласоваться с предполагаемым их мнением, и как

---

народа, напр. при такой, как она возможна в наемном войске, при новых средствах борьбы — безусловно и окончательно невозможно». Он указал на город, где мы оба жили, и сказал: «Восстав со своим миллионным населением, он был бы только расстреливаемой ветошью перед одним батальоном пехоты...».

<sup>1</sup> Формула ожидаемого, как его рисует себе К. Маркс.

оно не выражено — с совестью своею, общечеловеческою. По форме ничто его не ограничивает, но и ничто не поддерживает; он не слышит за собою одобрительных криков, одушевляющих подшептываний; он на них не слагает ответственности, и эта ответственность так велика, что ее не переживали иногда самые могущественные монархи.

В республике буржуазной этот поддерживающий, питающий слой есть: это — сама буржуазия, которая не только обладает государством, но и есть в точном смысле общество, со всеми чертами его несвязанности, индивидуализма, умственного труда, художественного выражения. Здесь не может поэтому быть подавленного антагонизма между механиком и машиною; нет их взаимного непонимания; нет преднамеренного бессилия, рассчитанной парализованности; есть одушевляющие крики, ободряющий шепот. Механизм государства, который всюду всемогущ, здесь еще и одушевлен, осмыслен.

Вот как разместились в Европе исторические силы в текущую минуту, и только слепой может не видеть, на которой стороне возможна победа. Повторяем, для нее недостает только момента *права*: правым чувствует себя тот, кто<sup>1</sup> не может взять победу; и кто может<sup>2</sup> ее взять, у кого она в руках — не смеет победить, не чувствует правым себя зажать в руке то, что в нее вложено уже историей...

Еще несколько минут исторического бытия, одно-два поколения еще сменяются, и право озарит жадного, рука его сожмется...

Уже более смелые речи и теперь слышатся в рядах буржуа; премник Карно не хочет более колебаться, как его предшественник; и, главное, он говорит, он сознает, он не скрывает, что колебаний не нужно, и их не будет. *В чем же не будет, куда потянется нить, более не колеблющаяся: к Богу ли, к прошлому ли Франции?* Нет и нет... К некоторой теократии без храма, к религии без Бога, к владычеству без святого, во имя чего оно было бы владычеством и для чего народы хотели бы, должны бы его переносить.

Желание славится железным кольцом, просто потому, что оно не нужно, с ним неудобно; будет душно на земле, как в монастырской келье, но без образа, на который можно бы помолиться, без веры, без чаяния, что хоть за гробом будет легче. Не чающие *там* воскресения не оживут и *для земли*, тихо умрут они, дети их, и тех дети опустятся усталым телом в тину, в которой стояли при жизни, очищая около колеса фабрики место для другого, чтобы выткалась еще нитка, сделалась

---

<sup>1</sup> Рабочие массы и ее теоретизирующие предводители.

<sup>2</sup> Буржуа.



еще рубашка, износилась — она, человек ее сделавший, природа бездушная и обездушенная...

## IX

Великий σύνταξις<sup>1</sup> мира принадлежит Богу, человеку принадлежит только его этимология; в истории он только «склоняет» и «спрягает», но ставит в порядок слова, сочетает их в предложения, периоды, в великую оперу — не он.

Он даже не видит, где нужно поставить союз, не понимает, что следует за этим и тем предлогом, и от этого-то он вечно ожидает и не получает, надеется и обманывается, хотя и вечно трудится. Мы все говорим, и целый мир повторяет: «Буржуа виновен», «он заслужил наказания»; *который* виновен, в чем? Этот ли бедный Жак, который, запирая контору, благословляет день, когда у него «прибыло», проклинает тот, когда «убыло». Ну, он вонюч сегодня, будет страшен завтра, *он* ли, однако, это избрал для себя, придумал, нашел и, найдя, кого-то обидел, у кого-то что-то отнял? Разве Лассаль, когда ему нужен был портной, искал такого, который брал бы за платье наиболее дорого и шил бы его наиболее плохо? Разве мужик, торгуя себе знаменитую «курицу» в суп (пусть благодушные пожелания Генриха IV исполнились), не выбирает наиболее жирную? рабочий разве не пересчитывает заработанную плату на ладони, или указывает надсмотрщику изъяны в работе, за которые тот сделал бы вычет? И каждый из нас, своим зубом, своим когтем вырывая корм у природы, разве думает еще о чем-нибудь, кроме как об одном, чтобы кусок был велик и зуб о него не сломался?.. Что искал Уатт, кроме «научной истины», Фультон — кроме облегчения бедных бурлаков своей родины, и тот безвестный мальчик, который соединил бичевкой два взаимодействующие<sup>2</sup> рычага машины, чтобы освободившись выбежать и присоединиться к играющим сверстникам, о чем еще думал кроме этой игры, на этот час, на том зеленеющем лугу? Но вот, день кончился и назавтра он не был позван к работе; не уста-

---

<sup>1</sup> Устройство (*греч.*)

<sup>2</sup> Так, случайно и безымянно, вскоре после Уатта, было сделано одно из самых важных усовершенствований в паровой машине: приставленный к ней работник-мальчик, которого вся обязанность была в том, чтобы одновременно закрывать один клапан и открывать другой, скучая этою работой и желая поиграть, связал их бичевкой, так что они стали действовать автоматически. Машина стала дешевле фабриканту; в теории ее был сделан некоторый прогресс; мальчик, наигравшись вдосталь, остался у родителей и на ужин, где для него ничего не было припасено... Кто здесь виновный? и даже кто собственно изобретатель? И кто, какой филантроп не воспользовался бы изобретением и, оборвав бичевки у машины, позвал бы опять к ней голодного мальчишку?

ющие более бурлаки не имеют и хлеба; и когда самые кости Уатта истлели, земля, та «легкая земля», которую с благоговением кидали на них благодарные современники — переполнена проклятиями, обагрена кровью, и ее, эту кровь, уже жадно тянуло в себя его «искание истины». Славные имена, великие предположения, благородные надежды, — как они сплелись с бесчестным и, наконец, с глупым; и кого под этим небом, на этой земле мы назовем гением, безумцем, виновным, правым, мы — только связывающие нитками не нами изобретенные рычаги, только, как этот мальчик, уклоняющиеся отдела и все-таки, как он, надеющиеся сохранить себе плату. Что же, почему из этих мириад людей, всегда и по одному уклону скользивших, только этот Жак обречен смерти, заслужил проклятия? И кто проклянет его, подымет над ним руку, кто не был бы сопричастен этой смерти его, над кем невидимо иная рука не была бы уже приподнята, и остановилась, и он ничем этого не заслужил?

В совершенной слепоте человека к окончательному смыслу им создаваемого лежит оправдание тех, кого наше сердце раздражается обвинить, бесправность каждого обвиняющего. Есть жертва и нет закалывающего иначе, как на небесах; мы все и только обречены; за какую вину, до которого срока — у кого спросим? Мы можем только прижаться друг к другу в великой взаимной жалости; принять и большее, чем что несем, с покорностью тою же, с какою обязаны нести и бремя, теперь на нас лежащее. Садче будет свистящий над нами бич — благословим его, еще гнетущее горе — возрадуемся ему; кто знает, не здесь ли начало искупления...

Низкое с высоким и страдание со всякою радостью соединены неразрывно причинною связью. Как можно было бы дать человеку почувствовать истинность всех, им оставленных, пренебреженных идей — иначе как сделав, чтобы на время эти идеи его оставили? ужас безбожия мог ли бы открыться ему, если бы Бог не скрыл на время от него лица своего? Иллюзионна<sup>1</sup> красота — «останься без нее»; нет истины абсолютной<sup>2</sup> — «затемнись в рассудке»; мифологична религия<sup>3</sup> —

---

<sup>1</sup> Разумею здесь учение о красоте как о полезном, что в силу полезности своей стало и «нравиться» человеку, получив от него особое имя, однако, не относящееся к чему-либо в себе самом особому, к какой-либо действительно присущей вещам красоте. Начало учения этого, как и других, ниже указываемых, относится еще к XVII столетию.

<sup>2</sup> Философский скептицизм, отчасти германской школы, но главным образом — английской, где знание понимается как ряд наблюденных фактов, без всякой иной принудительности в них сцеплении, кроме той, какая лежит в них самих во внешней природе (отрицание логической принудительности в истине, жизнедеятельности в разуме).

<sup>3</sup> Понимание христианства Бауром и всею Тюбингенскою школою.

«пойми ее как мифологию», сильный есть вместе и наилучший<sup>1</sup> – «испытай его силу на ребрах своих». Что мог ответить человеку Бог на его желания, как не тем только, что мы видим, о чем сетуем, что оплакиваем, как на берегах Евфрата пленные иудеи оплакивали ими покинутый, их покинувший Сион...

И он был им возвращен, когда был оплакан достаточно.

В. Розанов

---

Сканирование, распознавание, вычитка и оформление выполнены коллективом сайта  
<http://varvarin.ru>

---

<sup>1</sup> Учение экономистов, от А. Смита до Мальтуса, о человеческом обществе, Дарвина – о целой природе.